

A person with short reddish-brown hair, wearing a green jacket and a backpack, stands in the foreground looking out over a vast, ruined city. The city is filled with tall, dark, industrial structures and smoke rising from the distance. A massive, dark, mechanical structure, resembling a giant robot or a large crane, looms over the city from above. The ground is covered in brown, autumn-like foliage and debris. The overall atmosphere is one of desolation and awe.

Эммануэль Перси

Инструкция к человеку

Эммануэль Перси

Инструкция к человеку

«Автор»

2026

Перси Э.

Инструкция к человеку / Э. Перси — «Автор», 2026

Мир не погиб в катастрофе — он медленно угасает: репродуктивный коллапс стал реальностью, школы закрываются, города пустеют. Биолог-эволюционист Олег Корнев покидает умирающий город и прибывает в изолированный комплекс, где учёные разрабатывают последний шанс человечества — искусственную матку. Но проект разъедается изнутри: странные аварии оказываются методичным саботажем. Корнев понимает, что за этим стоит не враг, а глубокая убеждённость — кто-то из коллег считает вымирание не ошибкой природы, а закономерным итогом, и не даёт человечеству права на второй шанс. Пока команда борется за каждый день работы прототипа, Корневу предстоит решить, что важнее: логика эволюции или воля к продолжению жизни. История о противостоянии науки и этики, о цене надежды и о праве решать за нерождённых.

© Перси Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Эммануэль Перси

Инструкция к человеку

Глава 1

Автобус не пришёл в семь тридцать пять.

Корнев понял это не сразу — стоял у остановки и смотрел на расписание за пыльным стеклом, пока не различил, что краска на бумаге выцвела до серого и сквозь неё проступают цифры другого маршрута, отменённого, должно быть, ещё год назад. Он снял очки, протёр стекла краем шарфа — шерсть кольнула переносицу — и посмотрел снова. Расписание не изменилось.

Он пошёл дальше.

Это был маршрут, которым он ходил так давно, что ноги сами знали, где тротуарная плита чуть выщерблена — лучше обойти слева. Ноябрьское утро лежало над городом ровно и без особых претензий: облачно, не холодно, асфальт чуть влажный после ночи, и от него поднимался слабый запах мокрого камня. Воздух был чист до стерильности — не той чистоты, которую дают парки и ветер с реки, а той, что получается, когда источников загрязнения становится меньше.

Машин тоже почти не было.

Он это заметил, но не остановился. Примерно год назад перестал останавливаться при каждом подобном наблюдении — иначе прогулка превратилась бы в серию небольших остановок, и смысл самой прогулки был бы потерян. Теперь он просто фиксировал: три машины на перекрёстке, одна поворачивает, две едут прямо. Раньше здесь было оживлённее — не намного, но было, и в этой скудости движения слух невольно ловил каждый мотор.

Школа открылась ему, как открывается всегда: за поворотом, сразу после аптеки, которая по-прежнему работала. Низкое здание советской постройки, давно перекрашенное в бледно-жёлтый, теперь тронутый серостью влаги у цоколя. Корнев замедлил шаг.

Ворота были заперты на новый замок — это он видел и раньше, — но сейчас под замком появилась ещё и цепь, пропущенная сквозь прутья. Кто-то счёл нужным. Поверх цепи висел лист в полиэтиленовом пакете: официальное уведомление, судя по виду, но с расстояния текст был нечитаем, да Корнев и не приближался — он знал достаточно. Школа была закрыта три месяца назад. Не эта конкретно — он не знал, когда именно закрылась эта; он имел в виду школы как таковые.

Во дворе стояли качели.

Он смотрел на них дольше, чем следовало. Металлические дуги были выкрашены когда-то в синий, теперь краска сходила лохмотьями, и под ней проступала ржавчина — не сплошная ещё, но уверенная, работающая. Сиденья качелей были мокрые от ночного воздуха, и на нижнем краю дрожала одинокая капля. Никаких следов на земле под ними: ни вытопанной глины, ни борозд. Трава доросла до сиденья ровно, как будто качели уже стали частью ландшафта.

Корнев мог бы сказать, что это красиво. Не сказал — ни вслух, ни про себя. Отметил лишь, что трава выросла за один сезон и что это быстро — и что если сезонов будет достаточно, следа не останется никакого.

Он шёл дальше, руки в карманах.

Улица вывела его к скверу — небольшому, с четырьмя скамейками и двумя рядами лип, которые давно нуждались в обрезке. На ближней скамейке сидели двое: оба немолодые — у одного лицо тяжёлое, поперечные складки у рта, шея без остатка молодости; у другого легче,

суше, но такие же белые виски. Говорили вполголоса, не глядя друг на друга, как говорят люди, которые давно не нуждаются в контакте глазами, чтобы поддерживать разговор.

Корнев кивнул, проходя мимо. Один из них кивнул в ответ.

В сквере было ещё две скамейки. На обеих — никого. У фонтана — который и в прошлые годы не работал зимой — стояла горка: пластиковая, оранжевая, с одним поручнем, который кто-то когда-то погнул и так и не починил. Корнев остановился.

Здесь он часто видел детей. Не потому что сам искал их присутствия — скорее потому что они составляли часть звуковой картины: крики, споры о правилах, иногда плач, который так же быстро прекращался, как начинался. Потом этот слой начал пропадать. Медленно, как убывает звук на краю слышимости. Не в один день.

На горке никого не было. Двор за скамейками тоже пустовал. Корнев стоял и смотрел — не с тоской, не с ужасом, а с тем ровным вниманием, которое он умел включать, когда хотел видеть что-то точно.

Это не было похоже на то, что он читал в молодости о концах цивилизаций. Там были катастрофы: огонь, вода, болезнь, стремительная потеря. Здесь не было ничего стремительного. Здесь было вычитание — медленное, арифметическое. Из суммы убирали по единице, и сумма уменьшалась, и никто не кричал, потому что каждая отдельная единица была почти незаметна.

Закрылась одна школа. Потом вторая.

Автобус перестал ходить по одному расписанию, потом по другому.

Дети, которых было видно на горке, сначала стали встречаться реже, потом очень редко, теперь — Корнев пытался вспомнить, когда последний раз видел ребёнка на этой горке, и не мог. Может быть, весной. Может быть, в конце лета.

Двое на скамейке продолжали разговор.

Он прислушался — не из любопытства, а потому что звук в этот час был редкостью, и слух цеплялся за него, как цепляется за единственную нить в тишине. Один говорил что-то о ценах на продукты, другой отвечал. Обычный разговор людей, которым нечем заняться в ноябрьское утро. Детей рядом не было — и это уже не казалось им странным, понял Корнев. Они тоже привыкли. Это, пожалуй, было точнее всего остального.

Он сделал мысленную запись: не катастрофа, а тихое вычитание, к которому привыкают.

Привыкание — интересный механизм. Он изучал его в другом контексте: адаптация популяций к изменившейся среде, постепенный сдвиг нормы. Организм не тревожится об условиях, к которым адаптировался, даже если эти условия летальны в долгосрочной перспективе. Он просто считает их нормой.

Вот они: двое немолодых мужчин на скамейке в сквере без детей, разговаривают о ценах. Это норма. Горка без детей — норма. Ржавые качели без следа под сиденьем — норма. Расписание автобуса, выцветшее до нечитаемости, — норма.

Корнев вынул руки из карманов и медленно потёр ладонь о ладонь — не от холода, просто жест, за которым тело прячет незанятость.

Он не был уверен, что у него самого привыкание не случилось. Наверное, случилось — иначе он бы не шёл сейчас таким ровным шагом, не отмечал бы эти вещи с такой академической отстранённостью. Но наблюдение оставалось честным: это не драма. Это процесс. Медленный, неостановимый на данном этапе, методичный.

С научной точки зрения — даже элегантный, если бы речь шла не об этом.

Он ещё раз взглянул на горку.

Оранжевый пластик был бледнее, чем ему помнилось. Ультрафиолет делает своё дело не спеша, год за годом, не различая: служит ли горка по назначению или стоит без дела. Молекулярная деградация полимеров не интересуется контекстом.

Корнев повернулся и пошёл обратно — к дому, тем же маршрутом, мимо скамейки с двумя стариками, мимо заросшей горки, мимо запертых ворот со свежей цепью, мимо остановки с выцветшим расписанием. Плитка чуть выщерблена — он обошёл слева.

* * *

Ключ в замке повернулся туго — он всегда так делал в холод, металл сжимался и упирался. Корнев нажал плечом и вошёл.

В прихожей пахло бумагой и чуть — запылённым отоплением, которое включили рано, в октябре, потому что управляющая компания уже работала без прежнего персонала и расписания больше не держались. В квартире было тепло неравномерно: у батареи — почти жарко, у окна — прохладно, и это различие стало привычным, как многое другое.

Он разулся, повесил пальто. Прошёл в комнату.

Комната была такой, какой бывает комната человека, давно живущего одного и давно переставшего делать вид, что это временно. Книги стояли на полке не по алфавиту и не по темам — по тому, когда последний раз читались: ближе к краю те, что брались в последние месяцы, дальше — те, к которым не тянулась рука уже несколько лет. Распечатки статей лежали стопками на столе, на подоконнике, одна стопка стояла прямо на полу у кресла, прижатая снизу томом сравнительной геномики.

На полке между книгами стояла фотография. Без рамки — он так и не купил рамку, хотя собирался. Мария смотрела немного в сторону от объектива, как всегда, когда фотографировали без предупреждения. Стекло полки запылилось снизу, сам снимок оставался чистым — он вытирал его отдельно, не осознавая этого, просто так выходило.

Корнев сел за стол.

Он открыл верхнюю папку — не потому что планировал работать, а потому что рука сделала это сама. Внутри лежала распечатка его собственной статьи. Двадцать два года назад, журнал с двойным рецензированием, тираж небольшой, но в своей области — заметный. Он помнил, как писал её: тогда казалось важным сказать точно, потому что если не точно — неправильно поймут. Накопление делеций в митохондриальной ДНК соматических клеток как функция поколенческого времени. Он тогда занимался совсем другим вопросом — долгосрочными эффектами мутационного давления на репродуктивные ткани — и эта статья была, строго говоря, побочным продуктом, наблюдением на полях основного исследования.

Он взял листы в руки. Бумага чуть шершавила под пальцами, отсыревшая по краю.

Выводы в конце были аккуратны и осторожны, как всегда у него: «полученные данные позволяют предположить», «требуется дальнейшего изучения в когортах с различным экологическим фоном», «нельзя исключить синергетического взаимодействия с внешними эндокринными факторами». Он писал это как положено — с научной скромностью, с оговорками. И всё же.

Он перечитал третий абзац раздела «Обсуждение».

«При устойчивом увеличении мутационного фона в зародышевых клетках — вне зависимости от механизма — можно ожидать постепенного снижения жизнеспособности потомства на горизонте нескольких поколений, что в теоретическом пределе ведёт к репродуктивному коллапсу популяции».

В теоретическом пределе.

Он тогда написал это как предельный случай модели, как математическое граничное условие — не как прогноз. Никто бы не воспринял это как прогноз. Он сам не воспринимал это как прогноз.

Корнев положил листы обратно в папку.

Четыре года назад — он помнил это отчётливо, как помнят вещи, которые поначалу не понимают, — данные по фертильности в нескольких независимых когортах начали давать одинаковую картину. Снижение. Не в одном регионе, не в одной возрастной группе — по всем

когортам одновременно, с разницей в несколько месяцев. Он увидел это в сводке, которую получал регулярно как член консультативной группы при одной из международных программ мониторинга. Сводка пришла в пятницу, он прочитал её в субботу утром за кофе.

Первая реакция была профессиональной: артефакт выборки. Так почти всегда бывает с аномальными паттернами — сначала ищешь методологическую причину, потому что методологические причины встречаются несравнимо чаще, чем реальные аномалии. Несинхронизированные периоды сбора данных, разные критерии включения в когорты, лабораторные протоколы с вариациями. Он написал короткое письмо координатору программы — вежливо, по-деловому: нет ли технической ошибки в агрегации данных?

Ошибки не было.

Следующие несколько недель он провёл в том состоянии, которое знакомо каждому исследователю, столкнувшемуся с данными, не вписывающимися в модель: методичном, почти механическом перебирании альтернативных объяснений. Временный экологический стресс-фактор. Артефакт из-за изменения демографии выборок. Скрытая переменная. Межлабораторная несогласованность. Он перебирал их одно за другим, каждый раз убеждаясь, что следующее не работает. Это была скучная, утомительная работа — именно такая, какой наука чаще всего и бывает.

К весне стало ясно, что объяснения нет. Вернее — было одно объяснение, но оно означало то, чего не должно было быть.

Корнев поднялся из-за стола.

Он понял это по-настоящему не тогда, когда увидел данные, и не когда исключил альтернативы. Он понял это позже — и именно это понимание было тем, что по-прежнему не давало ему покоя. Природа не нарушила правила. Вот в чём состояло дело. Не катастрофа, не сбой, не вирус, не случайность — природа применила свои правила последовательно и точно, именно так, как должна была их применить при данном наборе условий. Накопленное мутационное давление. Эндокринный фон. Поколенческий сдвиг. Всё это было в моделях — в том числе в его собственных. В теоретическом пределе.

Он изучал эволюцию сорок лет. Знал, что виды заходят в тупик. Знал, что отбор не щадит никого. Объяснял студентам, что природа не имеет цели, не имеет предпочтений, не знает жалости — потому что жалость есть понятие биологически локальное, а природа работает на масштабах, которые делают любую локальность незначимой.

Он всё это знал.

И всё равно — это давило. Не потому что было несправедливо, а именно потому что было справедливо. Потому что было логично. Потому что в этой логике не было ни бреши, ни ошибки, за которую можно было бы зацепиться и сказать: здесь природа ошиблась, здесь можно предъявить претензию.

Нельзя было.

Корнев подошёл к окну.

Напротив стоял жилой квартал — пятиэтажки, построенные ещё в прошлом веке, добротные, из тёмного кирпича. Два года назад там ещё горел свет в части окон. Потом жильцов переселили — централизованно, по программе уплотнения, которую запустили, когда стало понятно, что обогревать и обслуживать полупустые дома нерационально. Теперь окна были заклеены изнутри бумагой — белыми листами, газетами, кое-где картоном. Неровно, как придётся. Дом стоял и смотрел на улицу этими белыми прямоугольниками вместо глаз.

Корнев стоял и смотрел на него.

Свет в квартире не горел — он не включал его, зашёл засветло. Комната медленно темнела, и дом напротив темнел вместе с ней, и бумага в окнах делалась серой, потом почти белой в последнем отражении неба, потом серой снова. Стекло у щеки холодило.

Аня умерла раньше. До кризиса, до данных, до сводки в пятницу. Он думал об этом редко — в смысле, редко думал именно так, прямо. Но иногда — вот как сейчас, стоя у тёмного окна — он понимал, что не знает, облегчение это или нет. Она не увидела бы этого. Не видела закрытых школ, заклеенных окон, двух стариков на скамейке без детей рядом. Не видела бы его самого, стоящего вот так — с распечаткой собственной статьи в памяти и чувством, что природа прочитала его выводы внимательнее, чем он сам.

Он не ответил себе на вопрос. Не потому что боялся ответа — просто некоторые вопросы не требуют ответа, они требуют того, чтобы их задали и отпустили.

Квартал напротив стоял тихо. Бумага в окнах не шевелилась — было безветренно. Кирпич тёмный, кое-где облупившаяся штукатурка над карнизами. Дом был построен, чтобы в нём жили, и продолжал стоять с той же основательностью — просто больше для этого не использовался. Материя равнодушна к функции. Это тоже, строго говоря, природа.

Корнев отвернулся, включил лампу над столом и сел. Жёлтый свет лёг кругом на бумаги.

Папка лежала там, где он её оставил. Он не стал её открывать снова. Просто положил руку поверх — ладонью на картонную обложку, как кладут руку на что-то, о чём нужно помнить.

* * *

Магазин работал с девяти до шести, хотя на двери ещё значилось «до восьми» — объявление с изменёнными часами было приклеено поверх старого, но держалось криво, отогнувшись с угла. Корнев толкнул дверь и вошёл. Над головой сухо звякнул колокольчик, забытый прошлым временем.

Внутри пахло озоном от систем охлаждения и ещё чем-то неопределённым — не совсем затхлым, но и не свежим, как пахнет в помещении, которое давно не проветривали, потому что нет смысла. Очередь из четырёх человек стояла у единственно открытой кассы. Корнев встал пятым. Никто не разговаривал.

Он взял корзину, хотя не собирался набирать много. Рука делает привычное автоматически. Прошёл по первому ряду — крупы, консервы, растительное масло. Запасы здесь были неплохими по нынешним меркам: по крайней мере, полки не зияли откровенными дырами. Хлеб — ещё свежий, утренний, отдающий тёплым дрожжевым духом. Молоко, судя по дате, привезли позавчера. Он положил в корзину то, за чем пришёл, и двинулся дальше — не потому что нужно было ещё что-то, а из своего рода дисциплины, давней привычки обходить магазин целиком, прежде чем принять решение.

В следующем ряду он остановился.

Стеллаж был длинным — на него хватало пространства для трёх, может быть, четырёх наименований товаров с нормальным шагом. Но он был пуст примерно наполовину. Не пуст в том смысле, что кончился товар, — полки были протёрты, ценники убраны. Просто пространство осталось. Там, где раньше стояли баночки с детским пюре в пёстрых этикетках, пластиковые упаковки молочных смесей, маленькие бутылочки питьевых соков с рисованными животными, — теперь не было ничего. Ни вместо, ни вместо вместо. Полки не перепрофилировали под что-то другое, не уплотнили оставшийся ассортимент, не передвинули соседний товар, чтобы занять место. Просто убрали то, чего больше не требовалось покупать, — и оставили как есть.

Корнев стоял и смотрел. Это было странно именно своей практичностью: никакого символизма, никакого жеста. Просто логичное решение не занимать площадь под товар, на который нет спроса. Но в этой практичности было что-то, что давило сильнее, чем давило бы намеренное. Заклеенные бумагой окна в доме напротив давили — но там был хотя бы акт: кто-то взял бумагу, кто-то клеил. Здесь не было акта. Здесь просто перестало быть то, что было.

Он положил в корзину ещё банку консервов, которая ему была не особенно нужна, и пошёл к кассе. Металлическая ручка корзины оттягивала руку сильнее, чем весила.

Кассир — женщина с такими глубокими морщинами у рта и глаз, что лицо казалось рельефным, словно вылепленным из сухой глины, — работала ровно, без лишних движений. Отсканировала крупу. Отсканировала масло. Отсканировала консервы. Взгляд её был направлен на экран кассы или на товар, который она брала в руки, — Корнев так и не понял, что именно она видит. Во всяком случае, на него она не смотрела. Не намеренно, не демонстративно — просто её внимание было там, где требовалось для работы, и нигде больше.

— Пакет нужен?

— Нет.

Она назвала сумму. Он приложил карту. Выдала чек, не глядя.

Он взял покупки и вышел.

На улице было прохладно, и после магазинного воздуха это ощущалось отчётливее, чем должно было бы, — холодок садился прямо на кожу лица. Корнев шёл медленно — не потому что торопиться было некуда, а потому что привык в последнее время двигаться так, словно каждый квартал стоит посмотреть. Возможно, это была одна из тех привычек, которые нарабатываются сами, без решения.

Аптека стояла закрытой. На двери — распечатанный листок в прозрачном кармане, наклеенный на скотч. «В связи с перераспределением ресурсов медикаменты данной категории доступны по адресу...» — дальше Корнев читать не стал. Адрес он знал: туда перевели и ту аптеку, что была ближе к рынку, ещё в прошлом квартале. Постепенно точки схлопывались в меньшее число точек — логика центрипетального сжатия. Удобно для оставшихся, которых становилось меньше. Сплошная рациональность.

На стене рядом с дверью, ниже карниза — граффити. Краска тёмная, слова написаны крупно, торопливо. Потом поверх них — широкая полоса серого, нанесённая явно с другой целью, другим человеком или теми же, кто испугался. Краска легла плотно, почти перекрыв написанное. Почти — но не полностью: в левой части, где кисть или валик прошлись небрежно, буквы проступали сквозь серое. Он остановился.

«зачем»

Одно слово. Строчными. Без знака — хотя вопрос был очевиден.

Корнев постоял. Потом пошёл дальше.

Он думал не о том, кто написал. Это было неинтересно — или, вернее, не важнее других вопросов. Он думал о том, что кто-то счёл нужным замазать. Что слово кому-то помешало, что его убрали — неточно, впопыхах, — и оно всё равно осталось, читаемое, если знать куда смотреть. Может быть, тот, кто замазывал, знал, что не уберёт полностью, и это не остановило его. Может быть, полудело было лучше, чем никакого.

Он не знал. Это была чужая история, короткая, написанная краской на стене, почти стёртая.

На следующем перекрёстке стоял светофор. Он работал — мигал зелёным, потом жёлтым, потом красным, хотя машин не было видно в обе стороны улицы. Корнев подождал зелёного, хотя переходить было безопасно в любой момент. Это тоже была привычка, от которой он не видел причины отказываться.

Пока он шёл, в голове складывалось — не мысль, а скорее наблюдение, которое он мог бы, если бы нужно было, сформулировать в слова: то, что происходило с городом, не было разрушением. Это было чем-то другим. Разрушение — активный процесс: что-то ломается, рассыпается, перестаёт работать. Здесь работало почти всё, что оставалось. Светофор работал. Кассир работала. Магазин работал до шести. Мусор убирали — Корнев заметил это ещё раньше, чисто убирали, хотя реже. Инфраструктура не падала. Она сжималась. Как сжимается организм, перенаправляющий кровоток от периферии к сердцу, к лёгким, к тому, без чего нельзя прожить следующую минуту. Руки холодеют, ноги холодеют, но сердце работает. Это не

умирание — это приоритизация. Природа делает так всегда, когда ресурс ограничен. Человек делает то же самое, когда устроен так же.

Пустые полки в том ряду. Аптека за одним адресом вместо трёх.

Никакой паники. Никакой видимой скорби — по крайней мере, публичной, уличной, той, что виделась бы. Люди в очереди молчали не потому что им было плохо — или не только поэтому. Они молчали потому что всё было сказано раньше, потому что слова стёрлись от употребления, потому что кричать не имеет смысла, когда нет адресата. Кому предъявить. Природа не принимает претензий.

Он это знал лучше, чем следовало бы.

Корнев дошёл до своего подъезда, придержал тяжёлую металлическую дверь, поднялся на четвёртый этаж по лестнице — лифт работал, но он давно предпочитал лестницу без особой на то причины. На площадке пахло пылью и чуть-чуть — чем-то кислым, старым запахом стен. Он повернул ключ, вошёл, поставил пакет на кухонный стол.

За окном смеркалось. Квартал напротив стоял тёмным.

Корнев разобрал продукты, убрал на места. Оставил чай закипать и сел у стола — не за работу, просто сел, положив руки на клеёнку, прохладную под ладонями. Ждал, пока вскипит.

«зачем» — строчными, сквозь серую краску.

Он не знал, что ответить. Это его беспокоило — не само слово, а то, что он не знал. Всю жизнь он работал в дисциплине, которая занималась ответами на вопросы другого рода: как, каким путём, через какие механизмы. Вопрос «зачем» в эволюционной биологии не считается научным — природа не имеет целей, она имеет результаты. Но человек устроен иначе: он задаёт вопрос «зачем», даже когда знает, что никто не ответит.

Чайник зашумел, набирая голос. Корнев встал, налил.

* * *

Конверт лежал на столе — он поставил на него пакет с продуктами, не заметив сразу. Только убирая гречку на полку, увидел: белый прямоугольник под пакетом, с официальной печатью в левом верхнем углу. Корнев не выписывал никаких журналов. Счета приходили на электронную почту уже много лет. Бумажных писем он не ждал.

Он взял конверт, повертел. Печать незнакомая — круглая, с мелким текстом по ободу, который без очков было не разобрать. Достал очки из нагрудного кармана, поднёс к свету лампы. Название организации ни о чём ему сразу не сказало: аббревиатура, полное название в две строки. Адрес отправителя — не городской.

Чай остывал, отдавая в воздух последние струйки пара.

Корнев вскрыл конверт аккуратно, по линии сгиба, как делал всегда — старая привычка, бессмысленная теперь, когда конверт незачем было сохранять. Внутри было три листа, сложенных вдвое. Плотная бумага, хорошая — он отметил это машинально, потому что хорошая бумага в последние два года стала редкостью: типографии закрывались раньше, чем успевал исчезнуть их адрес из справочников.

Он сел у стола и начал читать.

Письмо было составлено безупречно с точки зрения академического этикета — вежливое обращение, упоминание его публикаций и кафедры, трёхлетней давности монографии, которую, он думал, к тому времени перестали читать вовсе. Затем — существо дела: приглашение войти в научный совет изолированного исследовательского комплекса, расположенного в нескольких часах езды. Персонал комплекса проживает на его территории постоянно. Проект финансируется государством и несколькими частными фондами. Цель — разработка и оценка прототипа биотехнологической системы жизнеобеспечения. Участие в научном совете предполагает долгосрочное присутствие.

Корнев прочитал это предложение дважды.

«Биотехнологическая система жизнеобеспечения». Формулировка была намеренно нейтральной — он понял это сразу, как понимает опытный редактор намеренный эвфемизм. Не потому что тема была запрещённой, а потому что она была слишком большой, чтобы называть её прямо в официальном письме, в котором следующий абзац говорил о режиме безопасности и соглашении о неразглашении.

Он продолжил читать. Второй лист описывал структуру совета, распределение дисциплин — биологи, инженеры, специалисты по репродуктивной медицине, химики, несколько человек из смежных областей. Третий лист был технического характера: условия проживания, список того, что разрешено и не разрешено вывозить с территории, краткий перечень документов для оформления допуска.

Корнев отложил письмо и посмотрел в потолок.

Потолок был обычным — побелка, старая трещина наискосок от люстры, которую он давно собирался заделать и не заделал. Он глядел на эту трещину, пока в голове без усилия, само собой, складывалось то, что он уже знал.

Искусственная матка. Именно это они называли «биотехнологической системой жизнеобеспечения».

Он читал предварительные публикации — не систематически, скорее по мере того, как они попадались: обзорная статья в одном журнале, короткая заметка в другом, потом один большой материал, который прошёл достаточно широко, чтобы его обсуждали даже в коридорах кафедры. Технология была на ранней стадии. Очень ранней. Концептуально она не была невозможной — ни одного физического закона не нарушала, принципиальных биологических барьеров не имела, но между «принципиально возможно» и «работает достаточно надёжно для применения» лежала пропасть, которую в нормальных условиях преодолевают за десятилетия. Условия не были нормальными. Десятилетий не было.

Он знал, кто, по всей видимости, стоял за проектом — несколько имён из публикаций, одно из них он знал лично, по переписке. Люди серьёзные. Не фантазёры.

Это не успокаивало. Скорее наоборот.

Скептицизм приходил методично, как всегда, когда он думал о задаче как учёный. Слишком много неизвестных. Не «много» в смысле обычной исследовательской неопределённости, а структурно: параметры, которые они не могут контролировать, потому что не знают, каков механизм самого коллапса. Без понимания причины вмешательство идёт вслепую. Прототип — это пока система жизнеобеспечения без жизнеобеспечиваемого; биохимия имплантации, иммунный ответ, долгосрочная жизнеспособность эмбриона вне материнского организма — каждый из этих пунктов был отдельной диссертацией, отдельными годами. Времени не было. Финансирование, судя по всему, таяло вместе с остальным.

Цена ошибки была не в том, что проект провалится. Цена ошибки — в том, что люди поверят, что у них есть выход, и начнут строить жизнь вокруг этой веры, а потом выхода не окажется. Корнев видел, что делает с людьми несбывшаяся надежда. Видел в данных, видел в истории, в эволюционной стратегии любого вида, который слишком рано инвестирует в воспроизводство, оказавшееся невозможным.

Он встал, долил кипятку в кружку. Чай был почти без вкуса — заварка плохая, из тех, что остались на полках, когда хорошую перестали завозить. Обычно он этого не замечал. Заметил сейчас — язык различил лишь тёплую воду с горьковатым намёком.

Письмо лежало на столе. Три листа, аккуратно сложенных обратно вдоль прежнего сгиба.

Он не собирался его перечитывать. Он уже понял, что в нём написано. Взял снова.

Последний абзац первого листа, который он при первом прочтении прошёл как процедурный: «Ваш опыт в эволюционной генетике необходим для оценки долгосрочных рисков любых предлагаемых интервенций. Мы нуждаемся не только в специалистах по применению, но и в тех, кто способен оценить, что произойдёт, если применение окажется успешным».

Корнев прочитал это ещё раз, медленно, проговаривая про себя каждое слово.

Если применение окажется успешным.

Это было точнее, чем казалось с первого взгляда. Не «помогите нам это построить» — хотя и это тоже. А: допустим, это работает. Допустим, прибор работает, и у нас есть дети, рождённые вне материнского тела. Что тогда? Что это означает для вида — не в ближайшие пять лет, а в двадцать, в пятьдесят, в пространстве эволюционного времени, которое не интересует инженеров и репродуктологов, потому что это не их вопрос?

Это был его вопрос. Всю жизнь — его.

Он положил письмо на стол. Не убрал в ящик, не отложил к макулатуре. Оставил лежать — так, как оставляют вещь, к которой ещё вернуться, хотя ещё не знают когда.

За окном квартал напротив стоял тёмным. Один фонарь работал на углу, остальные — нет, и было непонятно, перегорели или их отключили как лишние. В любом случае никто не пришёл чинить.

Корнев держал кружку обеими руками, впитывая её убывающее тепло. Думал не об ответе — ответа он ещё не знал и не собирался торопить. Думал о том, что вопрос поставлен правильно. Это было редкостью. Это его беспокоило — что правильно поставленный вопрос о том, что произойдёт, если они выживут, беспокоит его больше, чем все аргументы против самой попытки.

Он не знал, что это означает. Но знал, что будет думать об этом.

* * *

Лампа горела одна на весь стол — та, настольная, с жёлтым абажуром, которую он купил ещё когда работал над докторской. Остальной квартиры словно не существовало: темнота за кругом света была плотной, почти тактильной, и он невольно поднял взгляд к её краю, как будто там могло оказаться что-то, чего он ещё не заметил.

Корнев разложил перед собой статьи — не в поиске, а по привычке рук, которые, не спрашивая голову, тянутся к бумаге, когда голова занята чем-то важным. Статьи были его собственные: он узнавал их по виду корешков, по тому, как загибались уголки. Одна — о репродуктивных коллапсах у островных популяций млекопитающих, датирована примерно двадцатью годами назад. Другая — о генетических тупиках у видов с длинным поколенческим циклом, написанная ещё раньше, когда казалось, что всё это имеет сугубо академический интерес. Третья — о том, что природа не отличает виды, способные осмыслить своё исчезновение, от тех, которые нет, и что это не меняет ни одного из её механизмов.

Он читал их медленно, не потому что забыл содержание, а потому что искал в них что-то, чего не замечал, когда писал. Искал и не находил. Это тоже было ответом.

Потом отложил статьи в сторону и взял чистый лист.

Он делил лист надвое ещё в университете — старый приём, которому учил студентов на первом семинаре по научному методу: прежде чем строить гипотезу, выпиши всё, что против неё. Левая колонка называлась «против». Правая оставалась пустой до тех пор, пока левая не будет исчерпана.

Он написал «против» и поставил двоеточие. Перо чуть скрипнуло по сухой бумаге.

Неопределённость технологии — вышло быстро, одной строкой. Прибор находился на стадии прототипа, и никто не знал, как поведёт себя внематочный онтогенез в пространстве репродуктивных поколений, а не единичных случаев. Это был честный аргумент.

Этические риски — следующая строка. Если технология сработает, она изменит не только демографию, но и всё, что они понимают под репродуктивной биологией человека, под понятием материнства, под тем, что значит «рождённый». Он записал и это.

Вероятность провала — третья строка. Исходя из данных, которые он знал — а он знал достаточно, — шансы на успешное масштабирование технологии в разумные сроки были невысоки. Не нулевые. Но невысокие.

Потом написал ещё одно — и это ему далось труднее, потому что касалось не предмета, а его самого.

Его возраст.

Он смотрел на эту строку дольше, чем на остальные. Морщины на тыльной стороне руки — он видел их в свете лампы, видел, как кожа там потеряла упругость, как синеватые вены стали виднее, чем были когда-то. Руки, которые держали скальпель на практикуме, а потом перо над диссертацией, а потом мел у доски, а теперь вот этот лист. Что он успеет увидеть, если войдёт в проект? Пять лет, десять? Достаточно, чтобы оценить долгосрочные риски — это ему написали. Но недостаточно, чтобы увидеть, что из этого выйдет.

Это тоже был честный аргумент.

Левая колонка была готова.

Он взглянул на правую. Написал «за» и поставил двоеточие.

Пауза была долгой. Он держал ручку над бумагой, не прикасаясь к ней; кончик пера неподвижно висел в жёлтом свете. Думал методично: перебирал возможные формулировки, проверял каждую на устойчивость, откладывал. «Долг перед наукой» — нет, это риторика, не аргумент. «Возможность применить знания» — нет, это звучит как оправдание, а не причина. «Вероятность успеха» — но он только что написал, что вероятность невысока.

Он сидел над пустой правой колонкой и обнаруживал, что не может написать туда ничего, что выдержало бы то же испытание, которому он подверг левую.

Наконец написал одно слово.

Альтернатива.

Смотрел на него некоторое время. Это было не аргументом в строгом смысле. Это было указанием на нечто, что находилось по другую сторону от выбора войти — и которому он не мог дать достойного названия, не солгав себе.

Он встал, когда затекла спина, отозвавшаяся тупой тяжестью между лопаток. Прошёл к окну.

Город внизу был тёмным — не тем мягким ночным тёмным, который он помнил, когда окна светились разрозненно по всему кварталу, перемигивались, жили своей жизнью в два и в три ночи. Сейчас темнота была другой: однородной, без просветов. Один фонарь горел на углу — тот самый, что работал через раз уже несколько месяцев. Остальные стояли тёмными столбами.

Раньше в это время — он помнил — откуда-то сверху иногда слышался плач ребёнка. Дом был старый, перекрытия тонкие, и звуки проходили сквозь них. Это раздражало, он помнил это раздражение — лёгкое, безобидное, то, о котором не думаешь, пока оно есть. Потом перестало раздражать. Потом он поймал себя на том, что прислушивается.

Собака тоже была — соседская, лаяла по ночам на что-то в проулке, и жильцы снизу однажды писали жалобу в домовую чат. Жалоба висела там, и никто её не убрал. Собаки уже не было давно.

Корнев стоял у окна и смотрел на квартал напротив. Тёмные окна, тёмные окна, одно — с синеватым мерцанием, там кто-то смотрел что-то в экране или просто не выключил. Здание было жилым наполовину: он знал это, потому что по утрам видел, кто выходит, а кто нет.

Тишина была не ночной тишиной — той, которая живая, которая дышит и в которой что-то движется за пределом слышимости. Это была другая тишина. Законченная.

Он подумал о слове «достоинство».

Его употребляли в разных контекстах — он читал достаточно. «Достоинство принятия», «достоинство конца» — эти формулировки звучали в дискуссиях, которые он изредка отслеживал, не участвуя. Они имели свою логику. Природа не сентиментальна; она не предписывает видам длить существование любой ценой; она не вознаграждает усилие само по себе, только результат. С этой точки зрения — если усилие с высокой вероятностью не даст результата, или если результат изменит вид настолько, что он перестанет быть собой, — позиция принятия была внутренне последовательной.

Корнев это понимал. Он понимал это как учёный, и понимал это как человек, проживший достаточно, чтобы видеть разницу между капитуляцией из слабости и выбором из осмысленной позиции.

Но он стоял у окна и смотрел на тёмные окна напротив.

И понимал, что не может назвать это достоинством. Не потому что был уверен в обратном. А потому что не мог. Потому что между ним и этим словом, применённым к тому, что он видел — к фонарю, который никто не чинит, к тишине, в которой не плачет ребёнок — стояло что-то, что не пропускало. Не сентиментальность. Что-то другое, более упрямое и менее красивое.

Он не знал, как это называется. Может быть, у этого не было хорошего названия.

Рационального аргумента «за» он так и не нашёл. Вернулся к столу и посмотрел на лист с двумя колонками. Левая была полна. В правой стояло одно слово, и оно не было аргументом.

Но оно было правдой.

Альтернатива — это сидеть здесь и наблюдать, как гаснет последний фонарь, как тишина делается всё более законченной, как из неё исчезает последнее, что делало её живой. И называть это — как? Принятием. Покоем. Достоинством.

Корнев не мог. Просто не мог. Не находил в себе этого.

Он не записал это на бумаге — некуда было записывать, это не было аргументом, это было чем-то, что не помещается в колонку. Он просто сидел над листом, и лампа горела, и за окном стоял тёмный город, и где-то в этой темноте было письмо на три листа с правильно поставленным вопросом.

Он не знал ещё, что ответит. Но знал, что не ответить — тоже выбор, и что этот выбор он уже не может сделать спокойно.

* * *

Он написал ответ утром, до завтрака, пока голова была ещё пустой и холодной, как квартира до первого чайника.

Коротко: согласен, готов прибыть в указанный срок.

Больше ничего. Не объяснял, потому что объяснения не помогли бы ни ему, ни им. Решение не было рациональным в обычном смысле — не было и смысла его рационализировать. Он поставил точку, заклеил конверт — хотя мог бы отправить электронно, но захотел именно бумагу, именно так, — и положил на край стола.

Потом поставил чайник и пошёл по квартире.

Он не планировал обходить её. Но именно это и произошло: он шёл из комнаты в комнату без конкретной цели, останавливался, смотрел. Здесь прожито было больше тридцати лет, и это чувствовалось не в вещах, а в том, как лежала тень на подоконнике, как был потёрт паркет у дверного порога, как полка у окна слегка наклонялась вправо и он всегда это знал и никогда не чинил — потому что Маша говорила, что это придаёт ей характер.

Он снял фотографию со стены.

Небольшая, в деревянной рамке — пожелтевшей по краям, потому что лак начал осыпаться. Маша на ней смотрела не в объектив, а куда-то в сторону и чуть-чуть смеялась, как будто только что услышала что-то, что ей понравилось. Он долго держал её в руках, не откладывая. Разглядывал смеющееся лицо — совсем не старое на том снимке, гладкое, живое — и

думал о том, что она умерла ещё до всего этого. До коллапса, до закрытых школ, до тишины. Иногда ему казалось, что это было везением. Иногда — что нет.

Потом положил в коробку.

Туда же — несколько книг. Не профессиональных: те он возьмёт по необходимости, они не поместятся в один чемодан всё равно. Он взял три книги, которые читал не потому что должен был, а потому что хотел: одну о миграции птиц, одну об истории алфавита и одну, имени которой уже почти не помнил снаружи, — но знал, что когда откроет, вспомнит каждую страницу. Вот и всё, что поместится. Он закрыл коробку.

Один чемодан — это была дисциплина, а не бедность. Чемодан должен быть один: если начать брать больше, то никогда не уедешь. Он это понимал без особого усилия.

Оделся, взял конверт и вышел.

Осень уже перешла в ту стадию, когда утром воздух не просто холодный, а влажно-тяжёлый, будто его намочили ночью и не дали высохнуть. Листья лежали на тротуаре слоями — никто их больше не убирал, это было заметно по тому, как нижний слой превратился уже в тёмную массу, почти в почву, и под подошвой чуть проседал. Корнев шёл привычным маршрутом: мимо аптеки, которая работала через день, мимо продуктового, у которого по утрам всё ещё стояли двое-трое, мимо почты — он опустил конверт, не останавливаясь особо, просто опустил в щель и пошёл дальше. Металлическая заслонка звякнула за ним.

Школа была закрыта. Не на замке — замка не было видно снаружи, — просто закрыта. Решётка опущена, стёкла мутные от конденсата, вывеска осталась, но кто-то снял с неё три буквы — непонятно зачем, и непонятно почему именно три. Корнев остановился перед ней на несколько секунд, не зная, зачем сам остановился. Школу закрыли почти два года назад — сначала объединили классы, потом перевели детей в соседний район, потом и там что-то произошло. Теперь она стояла вот так: целая, ненаповреждённая, просто пустая.

Он пошёл дальше.

Остановка была пуста. Расписание всё ещё висело — пластиковый планшет с пожелтевшей бумагой внутри. Корнев посмотрел на него без особого интереса: он давно ходил пешком, потому что пешком было надёжнее и он не хотел зависеть от того, придёт автобус или нет.

На скамейке у сквера сидели двое. Может быть, те же, что он видел раньше — месяц назад, полгода назад, — а может быть, другие. Корнев не мог разобрать. Лица у обоих были похожи: глубокие морщины, спокойные, ненапряжённые — то спокойствие, которое бывает не от душевного мира, а от долгой привычки к тому, что изменить нельзя. Они разговаривали вполголоса. Не смотрели в его сторону.

Он прошёл мимо.

Качели стояли в глубине сквера, за тополями. Корнев не планировал туда сворачивать, но свернул — не осознанно, просто ноги пошли, и он не остановил их. Детская площадка была маленькой: две качели, горка с облупившейся краской, песочница, которую кто-то накрыл фанерным листом — видимо, давно, потому что фанера уже покорибилась от влаги.

Он остановился у качелей.

Одна висела ровно, другая слегка перекосилась на цепях — цепь с левой стороны была длиннее, или просто растянулась. Он протянул руку и толкнул. Металл был холодный и влажный под пальцами.

Качели качнулись, скрипнули — не противно, просто сухо, как бывает, когда металл долго не смазывали, — описали короткую дугу и начали медленно замедляться. Скрип затихал вместе с движением. Корнев смотрел, как они замедляются — и в этом не было ничего значительного, он понимал, что в этом нет ничего значительного, — и всё равно стоял и смотрел, пока они не остановились совсем.

Потом убрал руку и пошёл обратно.

Он не оглядывался. Это было не принципиальное решение — не ритуал, не жест. Просто незачем было. Он помнил, как выглядит этот квартал: помнил аптеку, и почту, и тополя, и скамейку с двумя стариками. Он помнил всё это достаточно хорошо, чтобы не смотреть назад ради того, чтобы запомнить лучше.

Пока он шёл, в голове складывалось — не речью, не формулировкой, просто складывалось, как складывается что-то, что давно лежит рядом, а ты вдруг понимаешь, что оно уже готово.

Он едет не потому что верит в успех. Он знал это достаточно хорошо, чтобы не лгать себе насчёт вероятностей. Прототип был прототипом. Проект находился в той стадии, когда любой честный учёный сказал бы: шансов меньше, чем хотелось бы думать. И он был честным учёным.

Но природа подставила его. Это слово — «подставил

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.